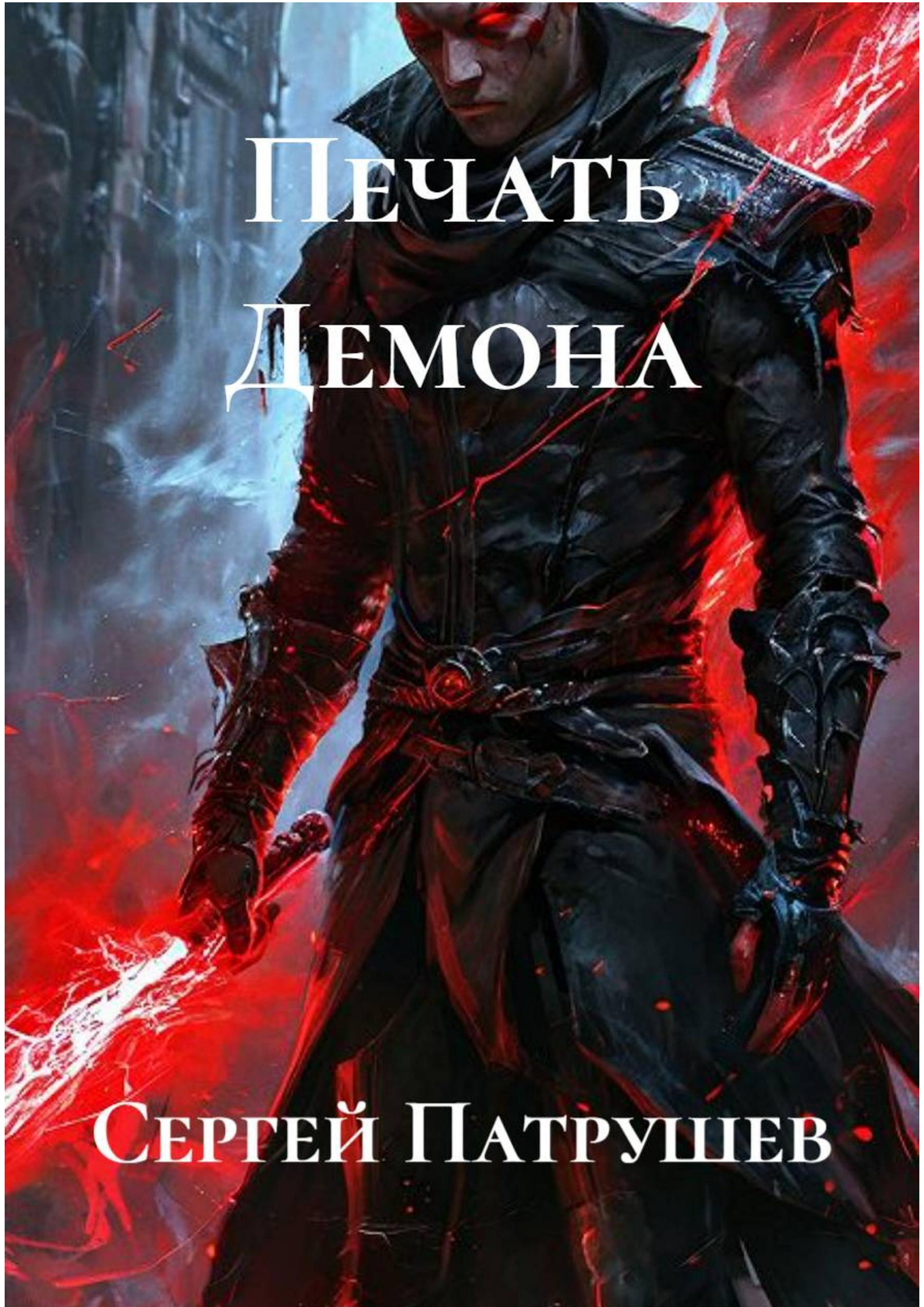




ПЕЧАТЬ ДЕМОНА

СЕРГЕЙ ПАТРУШЕВ

Сергей Патрушев
Печать Демона

«Автор»

2026

Патрушев С.

Печать Демона / С. Патрушев — «Автор», 2026

Молодой лекарь Элиас прибывает в глухую деревню, чтобы лечить крестьян от лихорадки, но суеверный страх местных жителей перед неведомой напастью заставляет его участвовать в древнем ритуале изгнания. Вот только обряд идёт не по плану: вместо слабого беса в мир прорывается могущественный архидемон, а сам Элиас становится его живым сосудом. На предплечье лекаря проступает светящаяся печать — метка, которую нельзя сжечь. Теперь за ним охотится Орден Чистоты, чьи паладины не ведают пощады к одержимым. Внутри него поселяется Азазель — падший бог, чей голос звучит в голове, предлагая соблазнительные сделки и обещая власть над реальностью. А где-то в мире пробуждаются ещё два носителя таких же печатей. Один из них — безжалостный тиран-полководец, уже собирающий армии для завоевания континента. Древнее пророчество гласит: когда три печати сойдутся, Врата Ада распахнутся и мир захлестнёт Хаос, но Элиас отказывается быть пешкой в игре богов.

© Патрушев С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Кровавая луна	5
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Печать Демона

Глава 1. Кровавая луна

Луна висела низко над горизонтом, распухшая и багровая, словно воспалённый нарыв на теле ночи, готовый вот-вот лопнуть и излить на землю гнойный, отравленный свет. Она казалась противоестественно огромной — такой огромной, что, казалось, занимала собой половину небосвода, и её багрянец не просто освещал, а пропитывал собой всё вокруг, окрашивая мир в тона запёкшейся крови и разложения. Даже звёзды, эти вечные и равнодушные свидетели человеческих судеб, померкли и отступили, спрятавшись за пеленой багрового марева, словно боялись запачкаться о то, что должно было свершиться этой ночью. Кровавая луна — дурной знак, самый дурной из всех, что мог послать человеку равнодушный небесный свод. В такую ночь, говорили древние книги, что пылились в запретной секции библиотеки семинарии Святого Эгидия, истончается завеса между мирами, и твари, обитающие за Гранью, получают возможность заглядывать в мир людей, находить в нём трещины и слабые души, как вода находит щели в старой лодке. В такую ночь любое, даже самое простое заклинание может пойти вкривь и вкось, а ритуал, проведённый без должной подготовки, способен обернуться катастрофой, масштаб которой не способен предугадать ни один смертный разум.

Старейшина Горан, впрочем, не читал древних книг и не доверял книжной премудрости. Всю свою долгую жизнь он прожил в деревне Малые Топи, затерянной среди бескрайних, унылых торфяников, что простирались на много дней пути во все стороны, и привык полагаться на опыт, передаваемый из поколения в поколение, да на собственное чутьё, которое редко его подводило. Он стоял в центре утопанной деревенской площади, прямой как палка, несмотря на свои семьдесят с лишним лет, и его сухое, жилистое тело, казалось, было вырезано из того же морёного дуба, что и сваи, на которых держались дома в этой болотистой местности. Лицо его, изрезанное глубокими морщинами, напоминало карту неведомой страны, где каждая складка кожи была руслом пересохшей реки или трещиной в земле, а мутные, выплывшие до цвета речной гальки глаза смотрели на мир с тем непоколебимым, тяжелым спокойствием, что свойственно людям, привыкшим повелевать и не терпящим возражений. Он сплюнул под ноги коричневую от табачной жвачки слюну, вытер рот рукавом грубой шерстяной рубахи и изрёк своё решение, которое не подлежало обсуждению: ритуал будет проведён сегодня, в ночь Кровавой луны, потому что ждать больше не было никакой возможности. Третья смерть за неделю, и все три — с вывернутыми под неестественными, невозможными для живого человека углами суставами, с переломанными, словно сухие ветки, позвоночниками и чёрной, воняющей серой пеной на губах. Бес, сказал тогда Горан, и слово это упало в толпу, как камень в стоячую воду, разойдясь кругами страха и мрачной, беспощадной решимости. Мелкий, но злобный. Справимся. Дед мой гонял нечисть простой кочергой, а у нас, слава Предкам, есть настоящие Слова и настоящая Вера.

Элиас стоял чуть поодаль от основной толпы, прижимая к груди выдавшую виды, потёртую до блеска на углах кожаную сумку с инструментами. Он не был здесь своим, и каждая клеточка его существа, каждый нерв, натянутый до предела, кричал об этом. Слишком молод — двадцать два года, едва-едва пробился первый пушок над верхней губой, который он по привычке пытался отращивать, чтобы казаться солиднее. Слишком бледен для этих краёв, где даже младенцы рождались с обветренными, шершавыми лицами и твёрдыми, как камешки, кулачками. Его кожа, привыкшая к мягкому, рассеянному свету семинарской библиотеки и про-

хладе каменных келий, казалась здесь, под багровым светом луны, почти прозрачной, словно у выросшего в погребке ростка. Год назад, когда он заканчивал своё обучение и с трепетом готовился к выпускным экзаменам по гербалистике и основам экзорцизма, он и подумать не мог, что его первым назначением станет не спокойный городской приход где-нибудь в центральных провинциях, а деревня, затерянная среди бескрайних, тоскливых торфяников, где само небо давит на плечи свинцовой тяжестью, а горизонт всегда затянут серой, унылой пеленой. Лекарь. Всего лишь лекарь с самыми базовыми, начальными знаниями в области экзорцизма, которые давались всем студентам-медикам на тот случай, если придётся столкнуться с одержимостью в глуши, где нет настоящего инквизитора. В его ведении были настойки от лихорадки на коре ивы и корне имбиря, вправление вывихов, которые он научился делать на деревянных манекенах, сломанных конечностях свиней, да чтение отходных молитв над умирающими стариками, чьи души уже почти отошли в мир иной. Никто, ни один преподаватель, ни один наставник, не говорил ему, что в его обязанности будет входить участие в настоящем, полноценном ритуале изгнания, где на кону будет стоять не только жизнь одержимого, но и души всех присутствующих, включая его собственную.

— Не дрейфь, травник, — хмыкнул кузнец Вацек, проходя мимо с огромной, неподъёмной на вид охапкой смолистых еловых веток, предназначенных для ритуального костра. Это был огромный, кряжистый мужчина с бочкообразной грудной клеткой, руками, толстыми, как пивные бочонки, и маленькими, глубоко посаженными глазками, которые смотрели на мир с той неизменной, туповатой уверенностью, что свойственна людям большой физической силы и небольшого ума. От него за версту разило потом, кислым прошлогодним пивом и вездесущей угольной пылью, которая въелась в каждую пору его кожи так глубоко, что, казалось, стала её неотъемлемой частью. — Мы тут такое не впервой. Дед мой, бывало, гонял бесов и упырей простой кочергой, раскалённой в кузнечном горне добела. Главное — волю в кулак собрать, зубами скрипнуть и не показывать страха. Эти твари, они ведь страх за версту чувят, как собаки мясо. А ты просто стой и молись про себя, коли умеешь. Толку от тебя всё равно немного.

Элиас кивнул, хотя внутри у него всё скручивалось в тугой, ледяной узел, который с каждой минутой затягивался всё туже и туже, сдавливая внутренности и мешая дышать полной грудью. В семинарии, в тихих, пропахших старой бумагой и воском аудиториях, им рассказывали о бесах и демонах как о теоретической угрозе — далёкой, почти мифической. Их учили классификации, зазубривали наизусть иерархии, составленные сотни лет назад какими-то полубезумными монахами-схимниками, и разбирали на семинарах признаки одержимости: говорение на незнакомых языках, отвращение к священным символам, нечеловеческая физическая сила и способность левитировать на небольшие расстояния. Но всё это было теорией, сухой и безжизненной, как гербарий. Одно дело — читать про бесов в книге, сидя в безопасности освещённой свечами кельи, и совсем другое — стоять здесь, в глухой деревне, под багровой, сочащейся зловещим светом луной, и чувствовать, как от одного только присутствия одержимой женщины воздух вокруг сгущается и наполняется чем-то невидимым, но осязаемо чуждым и враждебным. Настоящий бес — это не просто злобный дух, не просто призрак с дурным характером, как думали многие непросвещённые крестьяне. Это осколок чужеродной, инфернальной воли, эманация самого Хаоса, который паразитирует на самых сильных и самых тёмных человеческих эмоциях: на страхе, на боли, на ненависти и отчаянии. Чтобы изгнать его, мало просто прочитать молитву или помахать кадилом. Чтобы изгнать его, нужен особый Словесный Ключ — не просто набор слов, а тщательно выверенная, отточенная веками формула, где каждый звук, каждый слог, каждая интонация имеют значение и должны быть произнесены с истинной, непоколебимой верой. У кого-то из деревенских, возможно, и была эта вера — тёмная, замешанная на суевериях и страхе перед непонятным, но жаркая, как угли в

кузнечном горне. У самого Элиаса её, увы, не было. Было лишь книжное знание, выученное и не пропущенное через душу. Знание и страх. Страх перед тем, что должно было произойти, и страх перед тем, что он, возможно, не справится с отведённой ему, пусть и скромной, ролью.

Площадь, служившая обычно для деревенских сходок и ярмарок, была огорожена часто воткнутыми в землю осиновыми кольями, на которые густо, слой за слоем, намотали вымоченные в святой воде верёвки. Святая вода была старая, прошлогодняя, взятая из бочки, что стояла у входа в деревенское святилище, и Элиас сомневался, сохранила ли она хоть толику своей благодати, но говорить об этом вслух не решился. В центре круга, прямо на утрамбованной до каменной твёрдости глине, мелом начертили сложную, замысловатую вязь защитного круга. Старейшина Горан лично выводил линии, сверяясь с пожелтевшим, потрескавшимся на сгибах пергаментом, который, по его словам, хранился в деревенском святилище с незапамятных времён. Пергаменту было лет двести, если не больше, и чернила на нём давно выцвели до едва различимого бледно-коричневого оттенка, что делало чтение схемы занятием, требующим не столько знаний, сколько удачи и интуиции. Элиас, бросив лишь один быстрый взгляд на пергамент, почувствовал неприятный, холодный укол дурного предчувствия где-то под ложечкой. Символы, которые копировал старейшина, были странными, архаичными, какие-то угловатые и ломаные, непохожие на те плавные, гармоничные знаки, которым учили в семинарии. Некоторые из них, при более внимательном рассмотрении, показались ему подозрительно знакомыми — он видел похожие на полях запретных книг, тех, что хранились в особом отделе библиотеки под замком и выдавались только с личного разрешения ректора. Это были пограничные символы, знаки соприкосновения миров, которые использовались не для изгнания, а для призыва, для наведения мостов между реальностью и Бездной. Элиас хотел было открыть рот, чтобы сказать об этом, но слова застряли у него в горле, словно рыба кость. Кто он такой, чтобы оспаривать знания человека, который прожил здесь всю жизнь и, по общему мнению, не раз и не два успешно проводил подобные ритуалы? Молодой лекарь, чужак, который и года здесь не прожил. Его не станут слушать, его поднимут на смех, а в худшем случае — заподозрят в сговоре с нечистой силой и добавят в круг, к одержимой. Да и что он, в конце концов, мог понимать в настоящих, полевых ритуалах, если все его знания были сугубо книжными, полученными в тепличных условиях и ни разу не проверенными на практике?

В круг поставили тяжёлый, грубо сколоченный дубовый стул, к которому массивными, снятыми с деревенского колодца цепями прикрутили одержимую. Ею оказалась молодая женщина по имени Марта — жена одного из трёх погибших. Именно она, вернувшись с поля, нашла своего мужа в сарае, с вывернутой под неестественным углом челюстью и широко раскрытыми, остекленевшими глазами, в которых навеки застыло выражение неопишемого, запредельного ужаса. С тех пор рассудок её помутился. Днём Марта была тихой, безучастной ко всему, сидела на лавке у окна и бесцельно смотрела в одну точку, не реагируя ни на вопросы, ни на прикосновения. Но с наступлением темноты, когда мир погружался во мрак, а на небе загорались звёзды, она начинала говорить на языках, которых никто в деревне, включая самого Элиаса с его семинарским образованием, не знал. Это были гортанные, булькающие, режущие слух звуки, в которых не было ни ритма, ни мелодии — лишь хаос и чуждая, нечеловеческая злоба. По ночам она царапала бревенчатые стены своей каморки, пока ногти не срывались до кровавого мяса, и выла на луну тонким, пронзительным голосом, от которого кровь стыла в жилах у всей деревни. Сейчас, прикрученная к стулу цепями, она сидела, обмякнув, и её длинные, спутанные, давно не чёсанные волосы закрывали лицо грязной, колтунистой завесой. Тонкие, почти прозрачные руки, покрытые сетью синих вен и старых, белесых шрамов, были туго примотаны к подлокотникам, и на запястьях, там, где грубый металл впивался в кожу, уже успели вздуться багровые, воспалённые ссадины. Элиасу, глядящему на эту картину, стало

искренне, до щемящей боли в груди, жаль её. Эта женщина не была злой. Она не была воплощением зла. Она была больна, тяжело, неизлечимо больна, а одержимость — это болезнь души, самая страшная из всех, что могут постигнуть человека. Но в Малых Топях, как и в сотнях других таких же глухих, забытых Предками деревень, одержимость лечили только одним способом: огнём ритуального костра и силой Слова, произнесённого с верой. Другого лекарства здесь не знали, да и не хотели знать.

Старейшина Горан, возвышаясь над площадью как мрачный, древний идол, поднял свою сухую, узловатую, похожую на корень старого дерева руку. Гомон толпы, до этого напоминавший жужжание растревоженного улья, стих почти мгновенно. В наступившей, звенящей тишине, которая, казалось, звенела в ушах на одной высокой ноте, стали слышны малейшие звуки: потрескивание факелов, в которых горела смолистая щепа, и далёкий, тоскливый, леденящий душу вой ветра, блуждающего где-то в бескрайних, гиблых торфяниках. Кровавая луна, висят над головами, казалось, придвинулась ещё ближе, налившись ещё более густым и мрачным алым цветом, и тени от людей, собравшихся на площади, стали непропорционально длинными и уродливыми, словно их искажала и вытягивала сама Тьма, сгущающаяся вокруг.

— Братья и сёстры, — заговорил Горан скрипучим, как несмазанная тележная ось, но неожиданно властным, проникающим в самую душу голосом, который, казалось, исходил не из его груди, а откуда-то из-под земли. — Тварь, что поганит нашу землю, что пьёт кровь наших детей и обращает наших женщин в одержимых безумцев, сегодня ответит за всё. Огнём очищающим и Словом крепким мы вышвырнем её обратно в Бездну, откуда она выползла. Стойте в круге, братья и сёстры, держите верёвки крепко-накрепко, да не дрогнет рука ваша. Повторяйте за мной Слова, да не запнётся язык ваш, ибо единая запинка может стоить жизни нам всем.

Толпа одобрительно, глухо загудела, словно большой растревоженный улей. Люди, простые, тёмные, забитые крестьяне, взяли за руки, образуя живое, дышащее кольцо вокруг места ритуала. В их глазах, отсвечивающих багровыми отблесками пламени, горела не просто решимость, а мрачная, почти религиозная беспощадность. Эти люди, привыкшие бороться с суровой, не прощающей ошибок природой, не знали пощады к тому, что считали злом. Для них бес в теле Марты был не болезнью, а врагом, паразитом, которого нужно выжечь калёным железом, невзирая на страдания носителя. Элиас, стоящий внутри малого круга, чувствовал себя неуютно, как зверёк, попавший в западню. Он сглотнул вязкую, горьковатую слюну и крепче вцепился в свои атрибуты: в левой руке — медная, позеленевшая от времени чаша с освящённым, пахнущим горькими травами маслом, в правой — тонкий серебряный прут, холодный и скользкий от пота его ладони. Прут, по идее, был нужен, чтобы чертить в воздухе направляющие знаки, фокусирующие поток изгоняющей силы. Теоретически. На практике же Элиас никогда этого не делал и теперь судорожно пытался вспомнить, под каким углом нужно держать прут и с какой скоростью выписывать символы.

Горан начал читать. Слова полились из его рта, и Элиас сразу понял: это не каноническая формула. Слова были тягучие, вязкие, как болотная жижа, гортанные и неприятно, диссонансно режущие слух. Это была не звучная, торжественная латынь, на которой велись все службы и читались все молитвы в семинарии Святого Эгидия, и не староцерковный язык, знакомый Элиасу по древним манускриптам. Это было нечто гораздо более древнее, первобытное, идущее из тех времён, когда люди только учились давать имена своим страхам и облекать их в звуки. Элиас с огромным трудом разбирал отдельные, вырванные из контекста фразы, и они не внушали ему уверенности: «Изыди... порождение праха и тлена... силой, что старше

звёзд и глубже корней мира...» Вроде бы, на первый взгляд, правильно, но в интонации старейшины, в том, как он расставлял ударения и модуляции голоса, сквозило что-то глубоко, фундаментально неправильное. Он не приказывал, как подобает заклинателю, облечённому властью Света. Он словно просил, задабривал, вёл какой-то осторожный диалог с чем-то незримым, что уже начало проступать сквозь ткань реальности. Это было неправильно. Это было опасно.

Марта на стуле зашевелилась. Сначала медленно, будто просыпаясь от долгого, летаргического сна, затем резко, конвульсивно, словно через её тело пропустили электрический разряд. Голова её мотнулась, рывком откидывая завесу спутанных волос с лица, и Элиас, наконец, увидел её глаза. То, что он увидел, заставило его сердце на мгновение замереть, а затем забиться в бешеном, паническом ритме. Белки её глаз были полностью, абсолютно чёрными — не темно-карими, а именно чёрными, бездонными, как два колодца, ведущих напрямик в Бездну. И в этой чёрной, первозданной пустоте, в самой глубине, плясали крошечные, но ослепительно яркие багровые искры — не отражения костров, а живой, разумный и злобный огонь. Из горла женщины, из самых его глубин, вырвался звук, который в принципе не могла издать человеческая гортань. Это была дикая, какофоническая смесь утробного стона, низкого, вибрирующего рыка раненого хищника и пронзительного, разрывающего барабанные перепонки детского плача. Толпа вздрогнула, как единый организм, люди инстинктивно подались назад, но устояли, ещё крепче стиснув побелевшие пальцы друг друга. Вацек с мрачным, перекошенным яростью и страхом лицом бросил в костёр новую, огромную охапку еловых веток, и пламя взвилось вверх с новой силой, обдав всех жаром и густым, удушливым запахом горелой смолы, смешанным с запахом сырой земли и почему-то озона.

— Продолжай, старик, — прошепел голос, исходивший изо рта Марты, но это была, конечно, не она. Голос был низким, многомерным, вибрирующим на нескольких тонах одновременно, словно под землёй заработал огромный, древний механизм. Казалось, он исходил не из человеческой глотки, а отовсюду сразу — из-под земли, из воздуха, из самого багрового лунного света. — Продолжай, может, успеешь рассмешить меня перед тем, как я медленно, сустав за суставом, сломаю все твои старые, хрупкие кости. Может, споешь что-нибудь повеселее?

Старейшина побледнел, даже в багровых отблесках было видно, как кровь отхлынула от его лица, сделав его похожим на маску из старого пергамента. Но он, надо отдать ему должное, не остановился. Он усилил голос, почти перейдя на крик, и вскинул свои узловатые руки к багровой луне, словно призывая её в свидетели. Теперь он уже не просил — он требовал, но каждое слово давалось ему с огромным, видимым трудом, будто воздух вокруг внезапно сгустился в вязкую, тягучую патоку, и слова застревали в нём, как мухи в янтаре. Элиас почувствовал, как волосы на его затылке и на руках встают дыбом, а по позвоночнику пробегает ледяная, липкая струйка пота. Температура на площади резко, неестественно быстро упала. Из его рта, когда он судорожно выдохнул, вырвалось густое облачко пара, зависшее в воздухе, как при сильном морозе. От земли, прямо из начерченных мелом линий, из каждой бороздки и трещины в утопанной глине, начал подниматься туман. Не обычный, белёсый утренний туман, а тяжёлый, грязно-серый, маслянистый, липкий, который стелился по земле, как живое существо, и источал запах гнили, сырой земли и разложения, пробирающий до самых костей.

Вот тут-то всё и пошло наперекосяк. Именно в этот момент Элиас понял с кристальной, леденящей душу ясностью, что все его самые худшие опасения, все его интуитивные страхи начинают сбываться в самом кошмарном из возможных сценариев.

Мел, которым был начерчен защитный круг, внезапно задымился. Не загорелся, не вспыхнул, а именно задымился, испуская едкий, удушливый, жёлто-зелёный дым, который стелился по земле, скрывая ноги собравшихся и поднимаясь всё выше. Дым пах не просто горелым мелом — он пах палёной плотью, серой и чем-то ещё, чему Элиас не мог найти названия, но что на инстинктивном уровне вызывало отвращение и ужас. Люди в толпе закашляли, кто-то вскрикнул от неожиданности и боли — дым обжигал глаза. Цепи, удерживающие Марту на стуле, начали медленно, но неотвратно нагреваться, меняя цвет с холодного, матового серого на тускло-алый, а затем и на ярко-оранжевый. Древесина дубового стула под ними зашипела, обугливаясь, и в воздухе запахло палёным деревом и горячим металлом. В стелющемся по земле тумане начали появляться и исчезать тени — нечеловечески быстрые, ломкие, изломанные, они металась между ног людей, как стая невидимых, голодных крыс, и от их прикосновений кожу пробирал ледяной холод. Кровавая луна, казалось, залила всю площадь расплавленным, пульсирующим свинцом, искажая перспективу и превращая знакомые, привычные лица соседей и родственников в жуткие, гротескные демонические маски из ночных кошмаров.

— Круг! Круг не держит! — заорал кто-то на краю толпы истошным, срывающимся на визг голосом. — Завеса рвётся! Предки, спасите нас!

Элиас, стоящий ближе всех к центру событий, увидел то, чего не видели остальные. Он увидел, как линии защитного круга прямо на глазах наливаются светом. Но не чистым, голубоватым или золотистым, как должно быть при каноническом изгнании, а багряным, тёмно-красным, пульсирующим в такт биению его собственного испуганного сердца. Свет был не ровным, а рваным, идущим толчками, словно кровь, толкаемая по сосудам умирающего зверя. Знаки на пергаменте, который выронил из ослабевших пальцев старейшина Горан, были неверны. Ритуал изгнания, проводимый под Кровавой луной, в ночь, когда завеса и так истончена до предела, с грубыми ошибками в Словесном Ключе и с использованием древних, запретных, пограничных символов, превратился в свою полную противоположность. В приглашение. В зов. В настежь распахнутые ворота. Площадь больше не была ловушкой для мелкого, жалкого беса — она стала мощным, резонирующим маяком, чей зов достиг самых глубин Бездны, для чего-то бесконечно более могущественного, древнего и тёмного. Что-то услышало этот зов. Что-то откликнулось. И оно было уже в пути.

Одержимая Марта взвилась на стуле с такой силой, что, казалось, само мироздание содрогнулось. Это была не та жалкая, частичная левитация, о которой писали в учебниках. Она рванулась вверх всем телом, и цепи, нагретые почти добела, лопнули, как гнилые, перегнившие нитки, разлетевшись во все стороны фонтаном раскалённых, шипящих брызг металла. Один из осколков, небольшой, но раскалённый докрасна, просвистел у самого уха Элиаса, обдав щёку невыносимым жаром и оставив на коже тонкий, как волос, ожог. Женщина, вернее, то, что ещё недавно было женщиной, встала. Нет, её тело не встало на ноги — оно поднялось в воздух, плавно и жутко, и зависло в нескольких дюймах над обугленной, дымящейся землёй. Её волосы, спутанные и грязные, встали дыбом и развевались вокруг головы, как извивающиеся, живые змеи. А из её широко раскрытого рта, из ушей и из глаз — из самих глазниц — хлынул ослепительный, невыносимый для зрения багровый свет. Это не был отражённый свет луны. Это был свет самой Бездны, первородной Тьмы, и он был холодным, несмотря на цвет, и обжигал душу, а не тело. Элиас понял, что они натворили. Это был не тот жалкий, мелкий бес, который прятался в теле несчастной Марты, мучая её и её близких. Это была истинная, концентрированная Тьма, сущность столь древняя и могущественная, что человеческий разум просто отказывался её осознавать. Архидемон. Пробуждённый к жизни дурацким, безграмот-

ным ритуалом, проведённым в проклятую ночь самоуверенным стариком, который возомнил себя великим экзорцистом.

Толпа в панике, потеряв всякое подобие порядка, шарахнулась прочь, ломая хлипкое ограждение из осиновых кольев и давя упавших. Крики ужаса, полные животного, первобытного страха, смешались с нечеловеческим, многоголосым хохотом, который, казалось, исходил отовсюду сразу — из земли, из неба, из самой ткани мироздания, из собственных голов перепуганных людей. Воздух наполнился целым букетом запахов, от которых желудок Элиаса скрутило спазмом: запах серы, знакомый по лабораторным опытам, но здесь усиленный в сотни раз, запах свежей, горячей крови, запах озона, как перед страшной, разрушительной грозой, и запах палёной плоти. Старейшина Горан, лицо которого исказила гримаса священного, запредельного ужаса — он, наконец, понял, что натворил, — продолжал выкрикивать какие-то слова, но голос его сорвался на жалкий, сиплый шёпот. В круг, разорванный и осквернённый, ломилась не просто сущность. В мир пыталась протиснуться воля Архидемона, колоссальная и непостижимая, и одно только её присутствие, одно только касание её эманаций высасывало жизнь из всего окружающего пространства. Трава, что пробивалась между камнями на площади, пожухла, почернела и рассыпалась в мелкий, невесомый пепел. У половины присутствующих, включая самого старейшину, из носа и ушей хлынула кровь — не тонкими струйками, а обильными, толчкообразными потоками, свидетельствующими о повреждении сосудов мозга от невыносимого давления чужеродной воли.

Элиас замер, парализованный таким густым, таким концентрированным страхом, какого он никогда не испытывал и не мог себе вообразить. Всё его четырёхлетнее обучение, вся его книжная премудрость, все зазубренные наизусть формулы и молитвы — всё это в один миг обратилось в пыль, в ничто, в бесполезный мусор. Он видел, как двое крепких мужчин, что стояли в первом ряду, упали на землю, схватившись за головы и воя от боли, из их ушей текла кровь вперемешку с какой-то прозрачной жидкостью. Видел, как старейшина Горан, тот самый нестигаемый старик, рухнул на колени, выплёвывая на глину чёрные, воняющие гнилью сгустки. Внутренний голос, голос инстинкта самосохранения, орал ему в уши, перекрывая какофонию площади: бежать, спастись, убираться отсюда прочь, пока эта сила не обратила на него своё внимание! Но ноги словно приросли к земле, налившись свинцовой, неподъёмной тяжестью. Он, единственный здесь, кто имел хоть какое-то теоретическое представление о природе происходящего, чувствовал, как его разум, его личность, его сознание скребёт и царапает что-то колоссальное, холодное и абсолютно, фундаментально чуждое. Это была не злоба, не ненависть в человеческом понимании — это была бездна, безличная и равнодушная, как космический вакуум, и она искала точку опоры, якорь в этом мире. Тело Марты, опустошённое и обессиленное, больше не годилось — оно было израсходовано, выпотрошено. Архидемону нужно было новое тело, новый, более крепкий и жизнеспособный сосуд.

Взгляд Элиаса, заворожённый и полный ужаса, был прикован к парящей в воздухе фигуре. Её тело выгибалось под невозможными, нечеловеческими углами, багровый свет достиг невыносимой, слепящей яркости, а затем... погас. В один миг. Мгновенно. Абсолютно. На площади воцарилась оглушительная, звенящая, вакуумная тишина, нарушаемая лишь стонами раненых, треском разгорающегося пожара и далёким воем ветра. Марта упала на землю безвольной, пустой куклой, изломанной и никому уже не нужной. Свет погас. Тьма, сгущавшаяся вокруг, словно бы втянулась внутрь себя. Но чувство чудовищного, давящего присутствия Архидемона не исчезло. Наоборот, оно сконцентрировалось, уплотнилось до предела и метнулось прочь от опустевшей телесной оболочки. Воля Архидемона, как слепая, но неудержимая

сила, искала новый сосуд. Ей нужен был носитель с искрой нерастраченной жизни, с душой, полной страха и потому податливой.

Элиас почувствовал удар. Не физический — кулаком или дубиной. Это был удар самой Тьмы, сконцентрированной, невероятно плотной воли Архидемона, которая тараном, на полном ходу, врзалась в его грудь, в саму его душу. Он покачнулся, хватая ртом воздух, который внезапно стал невероятно горячим, горьким и плотным, как расплавленный свинец. Его внутренности скрутило огненным жгутом, а перед глазами заплескали чёрные, расширяющиеся пятна. Нечеловеческая, чужеродная сила вливалась в него, как река вливается в пересохшее русло, растекалась по венам и артериям жидким пламенем, выжигая что-то на фундаментальном, клеточном уровне и вписывая, впечатывая себя в саму его суть, в саму матрицу его существования. Боль была нестерпимой, запредельной, на самой грани потери сознания, а затем и за этой гранью. Элиас рухнул на колени, инстинктивно вцепившись левой рукой в правое запястье. Кожу на правой руке жгло так, будто он по локоть сунул её в горн, полный раскалённых углей. Это была метка. Якорь.

Сквозь пелену боли и шум в ушах, похожий на шум горного водопада, он услышал новый крик. На этот раз кричали не от ужаса перед демоном. Кричали от ужаса перед ним. Кричали на него. Сквозь разбегающиеся в панике фигуры крестьян, сквозь багровый свет луны и алые отблески пожара он увидел, как несколько мужчин во главе с Вацеком, чьё лицо было перекошено гримасой страха и лютой, животной ненависти, указывают на него пальцами и хватаются за всё, что попадётся под руку: топоры, вилы, дубины.

— Это он! — ревел кузнец, и его голос, усиленный яростью, перекрывал стоны раненых и треск пламени. — Лекарь проклятый! Это всё он! Сосуд! Сосуд Демона! Он призвал его! Убейте его, пока он не обратил всю свою силу против нас!

Элиас, ещё не до конца понимая, что происходит, опустил затуманенный болью взгляд. Рукав его грубой льняной рубахи, на которую попала капля крови из разбитого во время падения носа, странно дымился. Ткань обугливалась, чернела и рассыпалась лохмотьями прямо на глазах, как будто была сделана из тончайшей бумаги. Он рывком, преодолевая боль и слабость, задрал остатки рукава, обнажая предплечье, и увидел то, от чего кровь в его жилах в прямом смысле слова застыла, превратившись в ледяную крошку. Боль отступила на второй план, смётённая волной такого чистого, такого концентрированного, такого парализующего ужаса, что сознание едва не померкло.

На коже, прямо под сгибом локтя, проступала Печать. Она не была нарисована краской, не была выжжена калёным железом или вырезана ножом. Она росла изнутри, проступая сквозь слои кожи, плоти и мышц, словно её выписывала невидимая, но уверенная рука, сидящая глубоко внутри его собственного тела. Линии были угольно-чёрными, матовыми, поглощающими свет, они переплетались в сложный, отвратительный и в то же время завораживающе красивый узор, от которого невозможно было оторвать взгляд. Центральный символ, самый крупный и яркий, напоминал стилизованный, лишённый века глаз — бездонный, немигающий, смотрящий в самую душу. От этого глаза во все стороны, по всему предплечью, расходились ломаные, острые лучи, похожие на сломанные, зазубренные клинки. А вокруг глаза, оплетая его и распolzаясь вверх к локтю и вниз к запястью, теснились письмена на языке, которого Элиас не знал и не мог знать, потому что этим языком не говорили люди. Каждая буква, каждый завиток казался живым, сочащимся древней, нечеловеческой злобой и мудростью, накопленной за миллионы лет существования. И Печать светилась. Прямо сейчас, под багровой луной,

она наливалась тем же пульсирующим, зловещим багровым светом, что и линии разрушенного защитного круга. Этот свет проходил сквозь кожу, делая её прозрачной, и подсвечивал изнутри кости, вены и сухожилия, превращая руку в анатомический атлас из ночного кошмара.

Он стал Сосудом. Не просто одержимым, чей разум подавлен и подчинён. Одержимость — это когда бес сидит в теле, как всадник на лошади. А он стал именно Сосудом — живой, ходячей тюрьмой, герметичным контейнером для сущности, которая была слишком огромна и непостижима, чтобы просто «вселиться» в хлипкое человеческое тело. Она заякорилась в нём, поставила свою метку, свою Печать, сделав его якорем, проводником и точкой соприкосновения между упорядоченным миром людей и бесконечным Хаосом Бездны. Ритуал, призванный изгнать мелкого беса, из-за роковой ошибки, трагического совпадения, а может, и чьей-то далеко идущей злой воли, втянул в мир Архидемона. И Архидемон, не имея возможности обрести полную форму в разорванном, рухнувшем круге, вонзился своими эманациями в единственную подходящую душу — в душу того, кто стоял достаточно близко к эпицентру и чей страх, чей внутренний холод, был самым острым и самым притягательным. В душу Элиаса.

Печать запульсировала сильнее, в такт биению его сердца, и по телу прокатилась новая волна чужеродной, тёмной, инфернальной энергии. Эта волна не была похожа на боль. Боль осталась где-то позади, притуплённая и далёкая. Новая волна несла с собой леденящее, пробирающее до костей чувство колоссального, невероятного могущества, смешанное с тошнотворным, выворачивающим наизнанку отвращением. Он ощутил чьё-то Присутствие внутри себя — древнее, терпеливое, абсолютно уверенное в своём превосходстве и бесконечно жестокое. Архидемон не говорил с ним. Не было ни голоса в голове, ни навязчивых мыслей. Он просто был там. И само его присутствие давило на сознание Элиаса, как вся толща мирового океана давит на хрупкую, крошечную раковину, лежащую на дне Марианской впадины. Он понял эту простую и ужасную истину: Архидемон теперь — часть его. Часть, которую не удалить, не вырезать, не изгнать. И она наблюдает. Ждёт.

Хаос на площади тем временем достиг апогея. Костёр, раздутый непонятным, резким ветром, который дул, казалось, со всех сторон одновременно, перекинулся на соломенную крышу ближайшего амбара. Сухая, как порох, солома занялась с пугающей, неудержимой скоростью, и через минуту весь амбар пылал огромным, ревущим факелом, озаряя округу адским, пляшущим заревом, в котором тени людей казались беснующимися демонами. Истошно, душераздирающе мычала скотина, запертая в стойлах и не могущая вырваться наружу. Люди метались по площади, как муравьи в разорённом муравейнике, волоча раненых, наступая на упавших, оглашая ночь многоголосым хором воплей, плача, проклятий и молитв, которые смешались в единую какофонию ада. Кровавая луна безучастно и холодно взирала на всё это сверху, и в её багровом свете чёрный, жирный дым от пожара казался исполинским столбом запёкшейся, свернувшейся крови, поднимающимся к небесам.

Вацек с тремя другими мужчинами, крепкими и насмерть перепуганными, двинулся к Элиасу. Они шли сквозь дым и туман, и на их лицах не было ничего человеческого — только первобытный, животный ужас и слепая, беспощадная ярость. Они видели светящуюся, пульсирующую Печать на его руке. Они видели, как он упал, когда сила вошла в него. Для них не существовало сложных теологических концепций, не существовало теорий одержимости и сосудов. Для них существовала простая, как дубина, картина мира: вот лекарь, чужак, а вот — метка Демона на его руке. Он — исчадие Ада, причина всех смертей и несчастий, корень зла. И выход, единственный, простой и понятный, был тут как тут — уничтожить Сосуд, пока

Демон не обрёл полную силу, пока он не научился управлять телом и не обратил свою ярость на них. Разрубить на куски. Сжечь дотла.

— Убейте его! — хрипел кузнец, брызжа слюной и заноса для удара тяжёлый, остро отточенный колун, которым ещё сегодня утром, в другой, нормальной жизни, колот дубовые чурбаки для кузнечного горна. — Рубите голову, пока он не очнулся! Жгите тело! Не дайте ему подняться!

Элиас, преодолевая слабость, тошноту и плещущуюся внутри первобытную, клокочущую Тьму, попытался встать. Это было невероятно трудно. Ноги не слушались, став ватными и непослушными, левая рука висела плетью, а перед глазами всё плыло. Он поднял правую руку с пылающей, как клеймо, Печатью, в бессмысленном, отчаянном защитном жесте, словно надеясь, что её вид отпугнёт нападающих.

— Подождите! — выкрикнул он, но его голос был слаб, сорван и едва слышен за рёвом пожара и криками людей. — Это не я! Я не виноват! Я не хотел!

Ответом ему был лишь свист рассекаемого раскалённого воздуха. Вацек, с перекошенным от страха и первобытной, неконтролируемой ненависти лицом, обрушил свой колун. Элиас видел, как летит это тяжёлое, смертоносное лезвие. Время, казалось, замедлилось, растянулось в вязкую патоку. Он видел каждую деталь, каждую царапину на отполированной стали. Видел, как капли пота срываются с наморщенного лба кузнеца и медленно, как в кошмарном сне, летят по воздуху. Видел, как багровые блики пожара играют на лезвии, превращая его в нечто inferнальное. Видел, как напряглись, вздувшись буграми, жилы на мощной, бычьей шее Вацека. В этот миг, на самом, последнем краю гибели, когда до смерти оставались даже не секунды, а доли секунды, в сознании Элиаса что-то произошло.

Мир затопила Тьма. Не та физическая темнота, что приходит с закрытыми глазами или наступает в беззвёздную ночь, а иная, запредельная Тьма — вязкая, осязаемая, полная беззвучного, но оглушительного шёпота и мельтешения теней. В этой Тьме он не был один. В ней присутствовало Оно — то, что теперь делило с ним тело. В этой внутренней, ментальной Тьме Элиас ощутил невероятную, космическую, непредставимую силу, которая дремала в нём, свернувшись кольцами, как гигантский, непостижимый змей. Силу Архидемона. И, повинаясь не разуму, который был парализован ужасом, а глубинному, животному, древнему как мир инстинкту выживания, пробуждённому и усиленному этой чужеродной силой, Элиас выбросил свою правую руку вперёд.

Печать на предплечье вспыхнула с яркостью маленького, но ослепительно-яркого солнца. Багровый свет, густой и почти осязаемый, резанул по глазам нападавших, заставив их заслониться и отшатнуться. С раскрытой ладони Элиаса, с пальцев, униженных этим жутким, пульсирующим сиянием, сорвалась волна чистой, нефilterованной, первородной энергии Хаоса. Это не было заклинанием — ни одно из тех, что он учил. Это было даже не осознанное магическое действие. Это был выдох внезапно разбуженного, взбесившегося вулкана. Спонтанный, грубый, неконтролируемый и чудовищно, невероятно разрушительный выброс сырой мощи, которому было всё равно, куда бить. Волна ударила в кузнеца, подхватила его массивное, грузное тело, как ураган подхватывает пушинку, и отшвырнула прочь. Вацек, который весил не меньше пятнадцати пудов, подбросило в воздух, словно тряпичную куклу, набитую опилками, и швырнуло через всю площадь. Он врезался спиной в тяжело гружённую телегу, что стояла у входа в кузницу, проломив толстенные дубовые борта и разметав во все стороны куски дерева. Его тело рухнуло на землю мешком с переломанными костями и больше не двигалось. Тяжё-

лый колун, выбитый из его рук, улетел куда-то в темноту, за пределы освещённого пожаром пространства.

Двое других мужчин, что были с кузнецом, замерли, превратившись в соляные столбы. Их лица, ещё секунду назад искажённые яростью и жадой убийства, теперь выражали лишь одно чувство — бездонный, животный, липкий ужас. Они увидели то, чего не могли и не хотели понимать. Они увидели, как Элиас, ещё мгновение назад бывший жалкой, беспомощной жертвой, лежащей на земле и готовой к закланию, теперь стоял, пошатываясь, но на ногах. Вокруг его правой руки, словно ручные змеи, обвивались и скользили ленты абсолютной, первозданной Тьмы и пляшущие языки багрового, холодного пламени. А его глаза — теперь они это отчётливо увидели — изменились. Белки остались прежними, но радужная оболочка, которая у Элиаса с рождения была спокойного серого цвета, стала яркой, золотисто-жёлтой, светящейся в темноте, как у хищного зверя, а зрачок вытянулся в узкую, вертикальную, немигающую щель. И в глубине этих новых, чужих глаз плясали и переливались те самые багровые искры, которые они минуту назад видели у одержимой Марты. Искры Бездны.

— Демон! — завопил один из мужиков, пятясь и роняя на землю свой топор, который с глухим стуком упал в пыль. — Глаза! У него глаза горят, как угли адские! Демон внутри него!

Элиас слышал этот крик, но как будто сквозь толстый слой ваты, отделяющий его от внешнего мира. Он, как замороженный, смотрел на свою правую руку, на эту дикую, противозаконную пляску Тьмы и холодного пламени на кончиках пальцев. Он смотрел и не мог, отказываясь верить, что это сделал он. Что эта невероятная, чудовищная сила, которая только что играючи размозжила человека о телегу, исходила от него, тихого лекаря, специалиста по простудам и вывихам. Ужас от содеянного, от осознания того, что он только что убил человека — пусть и нападавшего, пусть и защищаясь, — скрутил его желудок ледяным спазмом. Но где-то там, в самой глубине, на тёмных задворках его сознания, в той самой точке, где теперь гнезилось Присутствие Архидемона, шевельнулось другое, гораздо более страшное чувство. Мрачное, пьянящее, невероятно острое удовлетворение. Он выжил. Он, слабый, никчёмный лекарь, который ни разу в жизни ни на кого не поднял руку, ответил на удар и остался жив. И это чувство, это тёмное, самодовольное удовлетворение, было, пожалуй, самым страшным из всего, что он пережил за эту ночь. Потому что оно ему понравилось.

Пожар разгорался всё сильнее, пожирая деревянные, крытые соломой дома, как голодный зверь. Амбар уже рухнул, подняв в воздух столб искр и горящих обломков. Огонь перекинулся на соседние строения — на кузницу, на старостину избу, на амбары. Крики, плач, вой женщин, рёв заживо горящей скотины — всё это смешалось в единую, невыносимую какофонию, которая била по ушам и по нервам. Деревня Малые Топи, это захолустное, забытое всеми богами место, умирала прямо на глазах, в муках и огне. И виной тому была не Кровавая луна, которая лишь создала благоприятный фон. И даже не Архидемон, вырвавшийся на свободу из-за глупости людей. Виной тому была эта глупость, умноженная на дремучее, воинствующее суеверие, и злая, горькая ирония судьбы, которая выбрала своим инструментом и своим Сосудом обычного, ничем не примечательного молодого лекаря, оказавшегося не в том месте, не в то время и не с теми людьми.

Элиас, шатаясь как пьяный, сделал неверный шаг назад, затем ещё один. Двое оставшихся мужчин и не думали его преследовать — они стояли, парализованные страхом, и смотрели на него, как на ядовитую змею. Он прижимал левую, онемевшую руку к груди, а правую, с уже угасающей, но всё ещё отчётливо видимой и пульсирующей Печатью, выставил перед собой,

словно она была заразной. Ему нужно было бежать. Немедленно. Бежать из этого огненного кольца, от этих людей, которые в своём ужасе и ярости никогда не примут его обратно и не поверят ни одному его слову. Бежать от самого себя, от того, что поселилось у него внутри. Бежать в торфяники, в ночь, в неизвестность. Он развернулся и, спотыкаясь о корни, о булыжники, о тела упавших людей, бросился прочь с площади, прочь от ревущего пламени и обезумевшей толпы, в спасительную, холодную темноту за околицей.

За спиной у него ревел пожар и выл, стонал и плакал обезумевший людской улей. А внутри, в самой сердцевине его души, в том месте, которое раньше принадлежало только ему, раздался звук, от которого кровь застыла в жилах, а сердце пропустило удар. Низкий, рокоющий, вибрирующий, торжествующий смех. Смех, полный такого древнего, такого бездонного презрения ко всему живому, что Элиас едва не лишился рассудка. Архидемон, заточённый в его теле, смеялся над гибнущей в огне деревней, над Кровавой луной, что была его маяком, над глупыми людишками, которые сами, своими руками призвали его в этот мир. И над своим новым Сосудом, который сделал только первый, самый маленький шаг на долгом и страшном пути в объятия Тьмы.

Печать на руке запульсировала в такт этому леденящему душу смеху, и Элиас, продираясь сквозь колючие кусты ольшаника и уходя всё дальше в гиблые, бездонные торфяники, впервые осознал весь невыразимый, космический ужас своего нового положения. Он больше не был просто человеком. Он больше не был даже одержимым, чью душу можно попытаться спасти. Он стал Печатью Демона, ходячей дверью, живым замком, и теперь каждый его шаг, каждый прожитый день будет непрекращающейся войной за собственную душу, над которой уже нависла несокрушимая тень могущественного Архидемона, терпеливо ждущего своего часа.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.